

Шпетная Наталья

ПРЕКРАСНАЯ ЯСНОСТЬ

Повесть о
Михаиле Кузмине



Наталья Шпетная

**Прекрасная ясность.
Повесть о Михаиле Кузмине**

«Автор»

2026

Шпетная Н. К.

Прекрасная ясность. Повесть о Михаиле Кузмине /
Н. К. Шпетная — «Автор», 2026

«Прекрасная ясность» — повесть о Михаиле Кузмине, одной из самых тонких и дерзких фигур Серебряного века. Петербург здесь дышит сыростью, свечным дымом, музыкой, слухами и любовью, которую слишком часто пытались спрятать или исказить. Это история о таланте, свободе, одиночестве, литературной славе и тихом сопротивлении времени, которое умеет вычеркивать имена. Атмосферная, живая, с иронией, болью и красотой — как сам Кузмин.

© Шпетная Н. К., 2026

© Автор, 2026

Наталья Шпетная

Прекрасная ясность.

Повесть о Михаиле Кузмине

Глава первая

Жёлтая бумага

В позднем Ленинграде бумага желтела быстрее, чем старели лица и стирались голоса. Кузмин знал это по собственным тетрадам: вчера ещё страница держала чернила бодро, почти вызывающе, а сегодня уже походила на кожу старика, который всё понял, но ничего не простил. Он провёл пальцем по краю листа, и тот отозвался сухим шорохом – не звуком даже, а маленьким укором.

– Ах ты, дрянь благородная, – сказал Кузмин. – Всё туда же: к вечности, но через пыль.

В комнате было холодно. Не морозно, нет; мороз по крайней мере честен, он щиплет и тем самым признаётся в намерениях. Здесь же холод сидел по углам, как бедный родственник, которого никто не приглашал, но и выгнать было неловко. Из окна тянуло. За стеклом лежал Ленинград – не прежний Петербург и даже не вполне город, а большая серая привычка, прорезанная трамвайными искрами.

На столе громоздились бумаги: письма, старые корректуры, нотные листы, записные книжки, вырезки из газет, где его имя ещё печатали без осторожности. Некоторые бумаги он откладывал вправо, некоторые влево, а третью кучку держал перед собой, не решаясь назначить ей судьбу.

Правая стопка означала: оставить.

Левая: можно выбросить.

Средняя не имела названия. В ней лежало то, что нельзя было ни сохранить без риска, ни уничтожить без предательства.

Кузмин надвинул на нос очки, взял старую нотную тетрадь в чёрной обложке и открыл её на середине. Пахнуло сырой кожей, свечным дымом и чем-то церковным – не ладаном даже, а памятью о ладане. На странице были записаны голоса: верхний, нижний, неуверенная помета карандашом, исправление, ещё исправление. Он тихо пропел одну фразу, сорвался, кашлянул и рассмеялся.

– Вот до чего дошли, Михаил Алексеевич, – сказал он самому себе. – Даже прошлое уже требует репетиции.

В дверь постучали.

Не решительно, не по-хозяйски, а тем особым ленинградским стуком, в котором заключались сразу извинение, просьба, голод, опасение и надежда, что дома всё-таки кто-нибудь есть.

Кузмин не ответил. Стук повторился.

– Если вы насчёт керосина, – сказал он громко, – то я сам насчёт него.

За дверью смутились.

– Михаил Алексеевич, это я. Лёня.

Кузмин поднял глаза к потолку, будто там должен был сидеть ангел, ведущий список всех Лёнь, вторгавшихся в жизнь русской литературы.

– Какой именно Лёня?

– Раkitин. Я был у вас в прошлом месяце. С переводом из Апулея.

– Ах, Апулей, – сказал Кузмин. – Тогда входите. Апулея нельзя держать на лестнице. Он и так натерпелся от осла.

Дверь открылась, и в комнату вошёл молодой человек лет двадцати пяти, худой, длинношей, в пальто не по росту. Он снял шапку, обнаружив тщательно приглаженные волосы и выражение лица, какое бывает у людей, заранее готовых к отказу, но всё ещё надеющихся, что отказ будет изысканным.

– Простите, что без предупреждения.

– Предупреждения теперь роскошь, – сказал Кузмин. – Прежде предупреждали о визитах, дуэлях и беременности. Теперь являются как есть. Садитесь, если найдёте предмет, ещё не занятый моей посмертной славой.

Лёня осторожно сел на край стула, предварительно сняв с него пачку журналов.

– Это не слава, – сказал он, взглянув на стол. – Это архив.

– Молодой человек, архивом беспорядок становится только после смерти владельца. До этого он называется: «я помню, где что лежит».

– А вы помните?

– Нет. Но на этом и держится искусство.

Лёня улыбнулся, однако взгляд его всё время возвращался к бумагам. Он достал из внутреннего кармана несколько сложенных листов.

– Я принёс перевод. Вы говорили, что надо посмотреть ритм.

– Я много чего говорю. В этом моя слабость и остаток профессии.

Кузмин взял листы, но читать сразу не стал. Он рассматривал гостя с лёгким прищуром. Молодой человек был из тех, кто вырос уже после крушения прежнего мира, но всё ещё питался его объёдами: латинскими авторами, французскими оборотами, разговорами о стихах вполголоса. Такие юноши иногда трогали Кузмина, иногда раздражали. Они приходили к нему как к свидетелю исчезнувшего пира и смотрели на него с той жадной почтительностью, с какой бедный студент разглядывает меню закрытого ресторана.

– Вы обедали? – спросил Кузмин.

Лёня покраснел.

– Да.

– Лжёте неубедительно. Это хорошо. Убедительная ложь портит лицо.

Он поднялся медленно, с той осторожностью, с какой тело начинает вести переговоры с каждым движением отдельно, и подошёл к буфету. Там нашёлся хлеб, немного сыра, баночка чего-то тёмного и подозрительного.

– Чай будет слабый, – предупредил Кузмин. – Не по эстетической программе, а по причине отсутствия чая.

– Не надо, Михаил Алексеевич, право.

– Когда говорят «право», обычно хотят есть. Берите.

Лёня подчинился. Ел он аккуратно, но быстро. Кузмин налил в стаканы горячей воды, которую при некотором воображении можно было считать чаем. Сам он сел обратно и развернул перевод.

Несколько минут в комнате слышались только шорох бумаги, осторожное жевание и далёкий трамвайный звон.

– У вас всё время получается, будто античный человек слегка простужен, – сказал наконец Кузмин.

Лёня замер.

– Простужен?

– Да. Он говорит сквозь нос и боится показаться неприличным. Апулей, дорогой мой, не классная дама. У него фраза должна блеснуть, вилять, вдруг кусаться. А у вас она приносит справку из домоуправления.

Лёня посмотрел на лист.

– Я хотел сохранить достоинство.

– Достоинство не в том, чтобы застегнуться на все пуговицы. Иногда достоинство именно в том, чтобы знать, какую расстегнуть.

Он взял карандаш и сделал на полях несколько помет. Писал мелко, быстро, с неожиданной твёрдостью. Рука у него ещё помнила ремесло лучше, чем тело помнило молодость.

– Здесь короче. Здесь не «возжелал», ради Бога. Никто в живой литературе ничего не «возжелывает», кроме плохих переводчиков и хороших пародистов. Здесь оставьте глагол простым. Простое слово иногда неприличнее вычурного, а потому правдивее.

Лёня кивал, но слушал уже не только про Апулея. Взгляд его опять скользнул к средней стопке бумаг.

Кузмин заметил.

– Что вас там тревожит? Бумаги? Они не кусаются. Максимум – компрометируют.

– Я не хотел быть нескромным.

– Это вы тоже неубедительно делаете. Спрашивайте.

Молодой человек помолчал, выбирая формулировку. В этом молчании чувствовалась новая эпоха: слова перед произнесением проходили внутреннюю цензуру, как посетители через вахтёра.

– Вы разбираете дневники?

Кузмин положил карандаш.

– А если да?

– Их будут печатать?

– Кто?

– Ну... когда-нибудь.

– Когда-нибудь, – повторил Кузмин и усмехнулся. – Прелестное время. В нём всё возможно, потому что оно никогда не наступает.

Лёня смутился, но не отступил.

– Просто мне кажется, это важно. Всё это. Ваши записи, письма, воспоминания. Ведь многое уже исчезло.

– Исчезло? – Кузмин посмотрел на окно. – Нет, милый. Исчезают пуговицы, зонтики и люди, которым должны деньги. Эпохи не исчезают. Они портятся, смердят, переодеваются и продолжают жить в чужих интонациях.

– Но Серебряный век...

Кузмин тихо засмеялся.

– Какое кладбищенское название. Серебряный век! Будто мы все были чайными ложечками. Звенели, темнели, нуждались в чистке. Никто тогда не знал, что он живёт в Серебряном веке. Все думали о гонорах, любви, бессмертии, сапогах, таланте соседа, который явно преувеличен, и собственном здоровье, которое явно недооценено.

Лёня улыбнулся.

– Но всё равно это была особая среда.

– Среда всегда особая, если в ней достаточно тщеславия и мало денег.

Он взял из средней стопки письмо. Не раскрыл, только погладил сгиб.

– А печатать... Видите ли, есть вещи, которые люди называют историей, когда перестают за них краснеть. До этого они зовутся сплетней.

– Но ведь без них неправда.

– И с ними неправда. Только другого сорта.

Лёня хотел возразить, но не решился. Кузмин видел: юноша пришёл не только с Апулеем. Его привёл голод другого рода – не менее сильный. Ему хотелось прикоснуться к запрещённому прошлому, узнать, как там говорили, любили, ссорились, писали, грешили. Он, возможно, представлял себе прежний Петербург непрерывным балом при свечах, где все были гениальны, бедны и красиво обречены.

«Бедность он угадал», – подумал Кузмин. – «Остальное слишком льстит покойникам».

– Михаил Алексеевич, – сказал Лёня осторожно, – а правда, что после «Крыльев» был скандал?

Кузмин посмотрел на него поверх очков.

– После «Крыльев»? Милый мой, скандал был и до «Крыльев», и вместо «Крыльев», и независимо от них. Россия вообще страна с прекрасным слухом к чужой постели и ужасным – к чужому стиху.

Лёня покраснел ещё гуще.

– Я не в этом смысле.

– Именно в этом. Не бойтесь. Вы спросили то, что спрашивают все, только вы сделали это с выражением сироты у кондитерской.

– Мне важно понять, как это было возможно.

– Что именно?

– Написать так открыто.

В комнате стало тише. Даже трамвай будто отошёл дальше.

Кузмин откинулся на спинку кресла. Лицо его, только что насмешливое, вдруг стало усталым и внимательным. Не к Лёне – к тому человеку, которым он сам когда-то был. Тот человек входил в память не как портрет, а как свет: резковатый, утренний, беспощадный к пыли.

– Открыто? – повторил он. – Нет. Вы ошибаетесь. Мы все писали не открыто. Мы писали так, чтобы дверь была не заперта. Это разные вещи.

– Но читатель понимал.

– Читатель всегда понимает больше, чем ему положено, и меньше, чем нужно.

Он раскрыл письмо, пробежал глазами несколько строк и тут же закрыл.

– Когда я писал «Крылья», я меньше всего думал о храбрости. Храбрость – это когда человек заранее знает, что совершает подвиг. А я терпеть не могу людей, которые заранее знают. Они обычно скучны и плохо пахнут моралью. Я хотел написать о воздухе. О том, что душа не обязана ходить по комнатам, где для неё поставили мебель.

– И о любви?

– Разумеется. Но любовь – слово испорченное. Им слишком часто прикрывают собственность, привычку, похоть, жалость, страх одиночества и желание иметь свидетеля своей важности. Настоящая любовь гораздо легче. Оттого её и боятся: она не держит форму.

Лёня слушал неподвижно. Кусок хлеба остался у него в руке.

– А вы не боялись?

Кузмин усмехнулся.

– Боялся. Не всё время, но часто. Только страх – плохой редактор. Он вычёркивает как раз живое.

Слова повисли между ними. На столе лежала нотная тетрадь. Кузмин вдруг вспомнил не роман, не сплетни, не рецензии, а лестницу в одном петербургском доме: полутёмную, пахнущую мокрыми шинелями, капустой и духами. Вспомнил, как поднимался, держа под мышкой ноты, и как сверху доносился смех – молодой, мужской, слишком свободный для приличной квартиры. Вспомнил своё раздражение: кто смеётся до начала вечера? Потом – лицо у двери. Глаза, в которых не было ни просьбы, ни вызова, только весёлая уверенность, будто мир уже оправдан одним этим смехом.

Он моргнул. Комната вернулась.

Лёня смотрел на него с тревогой.

– Вам нехорошо?

– Мне? Напротив. Я только что был моложе вас. Это утомительно.

Он положил нотную тетрадь перед собой.

– Вот с этого, пожалуй, и надо начинать.

– С музыки?

– С лестницы, – сказал Кузмин. – Всё важное в России начинается на лестнице: любовь, скандал, обыск, литературная карьера, просьба одолжить три рубля. Иногда всё сразу.

Лёня не понял, шутит он или говорит серьёзно.

– Вы расскажете?

– Нет, – сказал Кузмин. – Я буду молчать, а вы будете делать вид, что не записываете.

– Но я не...

– Тем хуже. Память без карандаша ещё опаснее.

Он поднялся, подошёл к окну и потёр пальцем мутное стекло. За окном медленно темнело. Ленинградский вечер опускался не сверху, а будто проступал из стен: серый, влажный, осторожный. В таком свете все лица становились немного посмертными.

– Понимаете, Лёня, – сказал Кузмин, не оборачиваясь, – они теперь думают, что мы жили в тумане. Символизм, мистерии, башни, розы, аргонавты, Прекрасные Дамы, чёрт знает что ещё. Отчасти верно: тумана было достаточно. Но были и вещи ясные до неприличия. Голод. Желание. Музыка. Зависть. Чистые воротнички по четвергам. И внезапное чувство, что если сейчас не сказать правду, потом всю жизнь будешь говорить красиво, но мимо.

– А вы сказали?

Кузмин повернулся. В полумраке очки его блеснули.

– Я попробовал.

Он вернулся к столу, открыл нотную тетрадь на первой странице и увидел дату, написанную собственной молодой рукой. Чернила выцвели, но наклон букв ещё держал прежнее упрямство.

– Петербург тогда был мокрый, – произнёс он. – Впрочем, он почти всегда был мокрый. Но в тот вечер особенно. Вода стояла в колеях, извозчики ругались так, будто продолжали древнюю литургию, а я нёс ноты, которые считал важнее своей жизни. Ошибался, конечно. Жизнь оказалась настойчивее, хотя и менее стройна.

Лёня машинально потянулся к карандашу, потом испуганно остановился.

– Пишите, пишите, – сказал Кузмин. – Только не делайте из меня святого. Святых у нас и без литературы переизбыток. А я был всего лишь человеком, который хотел, чтобы фраза дышала.

Он помолчал и добавил:

– И чтобы любовь не просила разрешения у дворника.

В соседней комнате что-то стукнуло: может быть, труба, может быть, мышь, может быть, сама память переставила стул.

Кузмин опустил глаза на тетрадь. Первая страница медленно распахивалась, как дверь в дом, где ещё никто не умер.

И он начал вспоминать.

Глава вторая

Музыка прежде слов

Петербург умел встречать человека так, будто тот уже виноват.

В тот вечер дождь не падал – он висел. Фонари расплывались в сыром воздухе жёлтыми пятнами, лошадиные спины лоснились, извозчики сидели, втянув головы в воротники, и казались не людьми, а мрачными придатками к собственным шапкам. По мостовой, шлёпая калошами, шёл молодой человек с нотной папкой под мышкой и с выражением лица, какое бывает у тех, кто решил посвятить себя высокому искусству, но уже подозревает, что высокое искусство не заплатит за квартиру.

Это был Михаил Кузмин – ещё не тот Кузмин, о котором будут шептать в гостиных, спорить в журналах и вспоминать с опасливой улыбкой, а другой: более худой, более застенчивый, с настороженным слухом и с упрямой надеждой, что мир устроен музыкально, просто большинство людей безбожно фальшивит.

Ноты он прижимал к себе крепко. В них были наброски духовных песнопений, хоры, несколько фраз, переписанных и зачёркнутых по многу раз. Он шёл к знакомому музыканту, который обещал познакомить его с человеком, «умеющим слушать старину не как музейную муху, а как живую воду». Формулировка была подозрительно красива, но Кузмин тогда ещё не до конца выработал в себе недоверие к красивым формулировкам.

Впрочем, недоверие уже зарождалось.

Он терпеть не мог разговоров о «народной душе», когда их произносили люди, не способные отличить крюковое пение от церковного баса простуженного дьякона. Его влекло не «народное» как мода и не «древнее» как украшение образованной скуки. Его тянуло к строгому, тёмному, устойчивому звучанию, где голос не кокетничал с чувством, а стоял, как свеча стоит перед образом: прямо, просто и потому страшно.

Музыка пришла к нему раньше литературы. Слова он любил, но долго относился к ним с подозрением: слишком легко они соглашались служить глупости. Музыкальная фраза была честнее. Она могла быть плохой, но редко бывала пошлой с таким самодовольством, с каким пошлым становилось слово.

С детства он вслушивался во всё: в шаги на лестнице, в скрип дверей, в женские голоса за стеной, в колокольный звон, в глухое ворчание взрослых, в собственное сердце, когда оно вдруг начинало стучать некстати – при взгляде, жесте, чужой руке, лежавшей на столе.

В этом «некстати» уже скрывалась будущая жизнь.

Он рано понял, что желания не спрашивают у воспитания позволения явиться. Они не входили торжественно, не объявляли себя грехом или судьбой; они просто оказывались рядом. Иногда – в гимназическом коридоре, когда старший мальчик, смеясь, поправлял воротник товарищу. Иногда – в купальне, где мокрое плечо, блеснувшее в сумраке, тревожило сильнее любой проповеди. Иногда – в дружбе, которая вдруг делалась слишком внимательной к голосу, походке, запаху табака на пальцах.

Кузмин не был человеком грубой исповеди. Он не сказал себе однажды: «Вот кто я». Люди вообще редко узнают себя по табличкам. Скорее он жил с ощущением, что внутри него есть отдельная комната, куда общество не войдёт, потому что не умеет стучать. В этой комнате было не стыдно. Там было тихо, точно и опасно.

Опасность, впрочем, принадлежала не чувству, а миру вокруг.

Дом, куда он пришёл, стоял в боковой улице, где ветер почему-то всегда казался беднее, чем на проспекте. На лестнице пахло мокрой шерстью, керосином и щами. Где-то за дверью ребёнок тянул одну ноту с таким упорством, будто решил уничтожить ею семью.

Кузмин поднялся на третий этаж и остановился перед квартирой с медной ручкой. За дверью слышались голоса. Один – густой, самоуверенный, другой – быстрый, с лёгкой насмешкой. Потом кто-то рассмеялся. Смех был молодой и мужской; он прозвучал неожиданно свободно, без оглядки на соседей, нравственность и сырость петербургского вечера.

Кузмин нахмурился. Ему не понравилось, что смеются до того, как он вошёл.

Он позвонил.

Дверь открыл человек лет тридцати с рыжей бородкой и глазами, в которых навсегда поселилось выражение музыкальной обиды: мир, по его мнению, недооценил его талант и продолжал делать это ежедневно.

– А, Михаил Алексеевич! Наконец-то. Мы уже думали, вас смыло в Фонтанку.

– Фонтанка проявила вкус и воздержалась, – ответил Кузмин, снимая калоши.

– Проходите, проходите. У нас тут маленькое собрание. Не пугайтесь: людей мало, мнений много.

– Это обычная пропорция.

В гостиной было тепло и душно. На рояле стояли стаканы, тарелка с лимоном, раскрытая партитура и пепельница, полная окурков. У окна сидела пожилая дама в чепце, похожая на усталую совесть семейства. На диване расположился молодой человек в тёмном сюртуке, с красивой, чуть дерзкой головой и руками, которые не умели лежать спокойно. Именно он, очевидно, смеялся.

– Позвольте представить, – сказал хозяин. – Михаил Алексеевич Кузмин. Композитор, знаток древнего пения, человек редкого слуха. А это – Павел Николаевич. Певец, спорщик и погибель всякого серьёзного разговора.

Павел поднялся.

– Погибель – слишком лестно. Я всего лишь напоминаю серьёзному разговору, что он смертен.

Кузмин поклонился.

– Для этого существуют врачи.

– Врачи убивают тело, а я – скуку. Разница в гонораре.

Хозяин засмеялся. Кузмин не улыбнулся, но отметил фразу. Не потому, что она была особенно остроумна, – молодые красивые люди часто говорят остроумно по праву лица, – а потому что голос у Павла был хорош. Не велик, не театрально роскошен, но свободен. Он не давил на слово, не показывал себя перед звуком, а как будто позволял звуку пройти.

«Басом не будет, – подумал Кузмин. – Баритон, пожалуй. И характер дурной».

– Нам говорили, – сказал Павел, – что вы ищете настоящую церковную строгость.

– Я ищу не строгость, а точность.

– Разве это не одно и то же?

– Нет. Строгость часто бывает тупой. Точность – никогда.

Павел прищурился с удовольствием.

– Значит, будем спорить.

– Не обязательно. Иногда достаточно спеть правильно.

Хозяин всплеснул руками.

– Господа, прошу вас, только не убивайте друг друга до чая. Михаил Алексеевич, покажите ваши записи.

Кузмин положил папку на рояль и стал доставать листы. Он чувствовал на себе взгляд Павла – внимательный, слишком прямой. Такой взгляд в обществе принято было либо не замечать, либо наказывать шуткой. Кузмин выбрал третье: стал объяснять.

Он говорил о распеве, о древних интонациях, о том, что церковное пение не должно превращаться в оперу для благочестивых тёток. Дама в чепце оскорблённо кашлянула. Хозяин закивал с тем жаром, с каким посредственные музыканты одобряют мысли, которые не смогут применить.

– У нас в церкви, – сказал Павел, – регент делает из «Господи, помилуй» такую арию, что Господь, вероятно, милует уже из жалости к прихожанам.

Пожилая дама перекрестилась.

– Павлуша, нельзя же так.

– Можно хуже, тётя. Я удерживаюсь из уважения к лимону.

Кузмин всё-таки улыбнулся. Павел заметил это и, кажется, счёл маленькой победой.

Потом пели.

Сначала хозяин сел за рояль, но Кузмин попросил без сопровождения. Тот обиделся – негромко, но всем телом. Павел встал у инструмента, небрежно опершись рукой о крышку.

– Что петь?

Кузмин протянул лист.

– Вот это. Только не изображайте благочестие. Оно мешает.

Павел взглянул на ноты.

– Вы требовательны.

– Пока только предупредителен.

Первую фразу Павел взял слишком красиво. Кузмин остановил.

– Нет.

– Уже?

– Именно. Вы поёте так, будто ждёте аплодисментов от ангелов. Ангелы, уверяю вас, слышали лучше.

Хозяин прыснул, пожилая дама возмущённо подняла брови, Павел рассмеялся.

– А вы злы.

– Я экономлю время.

Павел начал снова. На этот раз проще. Голос пошёл ниже, ровнее, лишился салонного блеска. Комната изменилась. Рояль, стаканы, лимон, мокрые пальто в прихожей – всё отодвинулось. Осталась линия звука, тонкая и крепкая, как нить, натянутая между дыханием и чем-то большим, чем дыхание.

Кузмин слушал, не двигаясь.

Там, где другой услышал бы приятный голос, он услышал возможность. Не только музыкальную. В этой возможности было то редкое соединение, которое он всегда узнавал прежде разумом, чем сердцем: простота без бедности, ясность без холода, тело, не стыдящееся духа.

Павел допел. Несколько секунд никто не говорил.

– Вот, – сказал Кузмин наконец. – Теперь почти.

– После такого «почти» хочется повеситься, – сказал Павел.

– Не советую. Голос испортите.

Все засмеялись, даже дама в чепце позволила себе тоненький смешок, быстро спрятанный за платком.

Чай подали жидкий, но с претензией: в стаканах, с лимоном, с вареньем, которое, судя по виду, пережило несколько царствований. Разговор перешёл к музыке, затем к литературе, затем, неизбежно, к деньгам.

– В России, – сказал хозяин, – композитору труднее, чем поэту.

– Поэту легче? – спросил Кузмин.

– Поэт может напечататься.

– И умереть с корректурой в руках от счастья?

Павел размешивал чай.

– Зато поэтам прощают бедность. От музыканта всё-таки ждут фрака.

– От поэта тоже ждут фрака, – сказал Кузмин. – Просто мирится с его отсутствием как с частью декорации.

– А вы кем хотите быть? – вдруг спросил Павел.

Вопрос прозвучал слишком прямо. Все посмотрели на Кузмина.

Он мог бы ответить: композитором. Или: переводчиком. Или: человеком, который занимается древним пением. Но ни один ответ не был точен. Он сам ещё не знал, кем хочет быть. Он знал только, каким не хочет: самодовольным, мутным, полезным, лживым.

– Хочу быть внятным, – сказал он.

– Для кого?

– Для тех, у кого есть слух.

Павел кивнул, будто принял вызов.

Позднее, когда гости стали расходиться, хозяин задержал Кузмина у рояля, принялся говорить о рукописях, о каком-то регенте, о возможном вечере. Павел в прихожей надевал пальто. Дверь на лестницу была приоткрыта, оттуда тянуло сырым холодом.

– Я провожу Михаила Алексеевича, – сказал Павел.

– Куда? – удивился хозяин.

– До угла. Иначе его ноты похитят раскольники.

– Раскольники, – сказал Кузмин, – в отличие от некоторых певцов, знают цену рукописям. Они вышли вместе.

На лестнице было темно. Одна лампа коптила у пролёта, другая вовсе не горела. Снизу поднимался запах капусты и мокрой древесины. Где-то хлопнула дверь, женский голос произнёс: «Не смей!» – и тут же затих.

Павел шёл рядом, легко перескакивая через ступени.

– Вы всегда так разговариваете? – спросил он.

– Как?

– Будто ставите человеку оценку карандашом на полях.

– Только если человек написан неразборчиво.

– А я?

Кузмин остановился на площадке. Павел был на ступень ниже, и потому их глаза оказались почти на одном уровне. В полутьме лицо его потеряло салонную дерзость; осталось живое, тёплое внимание.

– Вы? – сказал Кузмин. – У вас хорошая первая строка. Дальше возможны ошибки.

Павел улыбнулся.

– Значит, надо продолжать?

– Если хватит дыхания.

Они спустились к двери. На улице дождь всё ещё висел в воздухе. Извозчика поблизости не было. Павел поднял воротник.

– Вы далеко?

– Достаточно.

– Пойдёмте пешком. Я люблю мокрый город. Он честнее сухого.

– Вы слишком молоды, Павел Николаевич. В вашем возрасте даже насморк кажется философией.

– А в вашем?

– В моём уже различают насморк и философию, но лечат одинаково плохо.

Павел рассмеялся – тем самым смехом, который Кузмин слышал ещё за дверью.

Они пошли.

Петербург вокруг был почти пуст. Редкие прохожие двигались быстро, неся свои маленькие нужды сквозь большую сырость. В окнах горел свет – где ровно, где нервно, где празднично. Из одной квартиры доносились гаммы, из другой – ссора, из третьей – женское пение: кто-то тянул романс с таким чувством, будто пытался убедить любовь вернуться хотя бы из жалости.

– Вы правда занимаетесь старообрядцами? – спросил Павел.

– Не старообрядцами. Пением.

– Но ездили к ним?

– Ездил.

– И как они вас приняли?

Кузмин пожал плечами.

– С подозрением. То есть почти гостеприимно.

– Вам нравится их упрямство?

– Мне нравится, что они помнят форму. Форма – это не клетка. Это сосуд. Без неё чувство расплескивается и начинает дурно пахнуть.

Павел задумался.

– А если чувство больше сосуда?

– Тогда нужен лучший сосуд. А не лужа.

Павел посмотрел на него сбоку.

– Вы и о любви так думаете?

Кузмин ответил не сразу. Они шли мимо забора, за которым темнел сад. Мокрые ветви свешивались наружу, и капли падали на плечи, как мелкие знаки препинания.

– О любви особенно, – сказал он наконец.

– Значит, и любовь должна иметь форму?

– Иначе её за вас оформят другие. Семья, церковь, полиция, литература, соседка с третьего этажа. У всех найдётся бланк.

Павел тихо присвистнул.

– Опасные мысли для человека с нотами духовного пения.

– Духовное пение тем и хорошо, что напоминает: душа существует. А если она существует, ей нельзя всё время приказывать стоять в углу.

Павел остановился у фонаря. Свет падал на его лицо сверху, делая глаза темнее.

– Вы говорите так, будто уже всё решили.

Кузмин усмехнулся.

– Ничего я не решил. Я только стараюсь не врать раньше времени.

Это была правда, хотя и не вся.

Он уже чувствовал, что рядом с этим человеком слова становятся опаснее обычного. Не потому, что Павел был особенно прекрасен, – красота сама по себе редко меняла его жизнь; он слишком хорошо знал, как часто красивое лицо служит прикрытием скучной души. Но Павел обладал тревожной открытостью. Он задавал вопросы так, будто готов был услышать ответ, а это встречалось куда реже, чем умение красиво спрашивать.

У перекрёстка они остановились.

– Мне туда, – сказал Кузмин.

– А мне, кажется, в другую сторону.

– «Кажется» – плохой проводник.

– Иногда лучший.

Павел протянул руку. Кузмин пожал её. Рука была тёплая, сильная, чуть влажная от дождя. Пожатие длилось ровно столько, сколько позволяли приличия, и на мгновение дольше, чем требовала случайность.

– Вы дадите мне ещё спеть? – спросил Павел.

– Если перестанете петь для ангелов.

– А для кого?

Кузмин посмотрел на него внимательно.

– Для одного слушателя. Этого всегда довольно.

Павел опустил глаза, улыбнулся почти незаметно и ушёл, быстро растворившись в мокром свете.

Кузмин остался у перекрёстка один. Ноты под мышкой отсырели, пальцы замёрзли, но внутри было странно ясно. Не радостно – радость слишком шумна для таких минут. Скорее точно. Как после найденного аккорда, который долго не давался, а потом вдруг сам лёг под руку.

Он пошёл домой.

Позднее, много лет спустя, он будет вспоминать этот вечер без уверенности, всё ли было именно так. Память – великий редактор и ещё больший лжец. Возможно, дождь начался позже.

Возможно, Павел сказал не «для кого?», а что-то куда глупее. Возможно, никакого лимона на столе не было, и это уже прибавила память ради приличия сцены. Но рука у фонаря, голос без сопровождения и фраза о любви, которой нужны не кандалы, а форма, – это осталось.

Дома он долго не зажигал лампу. Сидел у окна, слушал, как вода стекает по жести, и думал о музыке.

Музыка больше не казалась ему достаточной.

Не потому, что она стала меньше. Напротив: она вдруг оказалась слишком огромной, слишком свободной, чтобы удержать всё, что просилось наружу. В ней можно было спрятать желание, страх, нежность, дерзость. Но спрятать – ещё не значит сказать.

Слова, которым он не вполне доверял, начали подступать.

Сначала отдельными фразами. Потом голосами. Потом сценами.

Ему виделась комната, похожая на ту, где сегодня пели, но в ней говорили не о распеве, а о жизни. Молодой человек слушал другого молодого человека и вдруг понимал, что нравственность, которой его учили, похожа на чужой сюртук: сидит плохо, но все уверяют, что «так и надо». Виделся наставник – не развратитель, как сказали бы глупцы, а тот, кто открывает окно. Виделись путешествие, свобода, страх, крылья.

Слово «крылья» возникло ещё не как название, а как ощущение между лопатками.

Он зажёл лампу, достал бумагу, обмакнул перо.

И ничего не написал.

Вместо этого рассмеялся. Тихо, почти виновато. Высокая минута кончилась самым обыкновенным образом: чернила расплылись кляксой, живот напомнил о голоде, а сосед за стеной начал храпеть с такой убеждённостью, будто доказывал материализм.

Кузмин отложил перо.

– Не сегодня, – сказал он.

Но это было неправдой. Уже сегодня. Просто текст ещё не знал, что начался.

– Вы хотите сказать, – перебил Лёня в холодной ленинградской комнате, – что «Крылья» начались с певца?

Кузмин поднял голову от тетради.

– Я хочу сказать, что литература редко начинается с литературы. Чаще – с голоса, лестницы, чужой перчатки, неуместного вопроса, плохо сваренного кофе. Потом критики приходят и объясняют, что всё началось с идей.

– Павел Николаевич – это настоящее имя?

– Вы уже хотите примечаний? Не торопитесь. Примечания – это когда текст перестал защищаться сам.

Лёня покраснел.

– Простите.

– Не надо всё время извиняться. Это портит позвоночник.

За окном совсем стемнело. Кузмин встал, зажёл лампу. Жёлтый круг лёг на стол, выхватив из сумрака руки, тетрадь, очки, кусок хлеба, письмо с надорванным краем. Вне этого круга комната стала неопределённой, будто прошлое заняло все углы.

– Он был вашим другом? – спросил Лёня тише.

Кузмин долго молчал.

– Друг, – сказал он наконец, – очень удобное слово. Им можно прикрыть всё, что не желает помещаться в приличный разговор.

– А любовь?

– Любовь ещё удобнее. Ею прикрывают даже то, чего вовсе не было.

Он взял письмо из средней стопки и положил перед собой, не раскрывая.

– Не в названиях дело. Понимаете, молодые люди ужасно любят называть. Им кажется: если нашёл слово, получил власть над предметом. А жизнь, к счастью, безграмотна. Она не читает наших ярлыков.

Лёня смотрел на письмо. Почерк на конверте был стремительный, размашистый. Имя отправителя Кузмин прикрыл пальцами.

– И всё же, – сказал Лёня, – вы сохранили.

– Сохранил.

– Почему?

Кузмин усмехнулся, но в этот раз без веселья.

– Потому что человек слаб. Потому что бумага иногда вернее людей. Потому что уничтожить письмо легко, а доказать себе, что ты имел на это право, трудно.

Он раскрыл конверт. Внутри лежал лист, сложенный вчетверо. Чернила местами поблелили, но несколько строк были видны отчётливо. Кузмин прочёл их глазами и быстро закрыл.

Лёня отвернулся, показывая, что не подглядывает.

– Благородство, – заметил Кузмин, – всегда выглядит немного театрально, когда его демонстрируют в профиль.

Лёня смущённо повернулся обратно.

– Я правда не хотел.

– Хотели. Просто хорошо воспитаны. Это разные силы, но обе заслуживают внимания.

Он положил письмо в среднюю стопку.

– Вот видите: здесь начинается трудность. Оставить – значит однажды отдать на растерзание тем, кто любит тайну только как замочную скважину. Сжечь – значит согласиться с ними заранее: будто в этом было что-то постыдное.

– А вы что сделаете?

Кузмин посмотрел на пламя лампы. Оно дрожало, хотя в комнате не было ветра.

– Пока рассказываю вам про музыку. Это самый изящный способ не отвечать.

Лёня улыбнулся, но тут же стал серьёзен.

– А потом?

– Потом будет Петербург, который решил, что ему мало музыки и он хочет литературы. Это, признаюсь, было с его стороны неосмотрительно.

Кузмин снова открыл тетрадь. На следующей странице между нотами лежал засушенный лист – крошечный, тёмный, почти рассыпавшийся. Он не помнил, откуда тот взялся. Или делал вид, что не помнит.

На обороте страницы была карандашная запись: адрес, время, одно слово – «**Башня**».

Лёня наклонился.

– Вячеслав Иванов?

Кузмин поднял бровь.

– Вы произнесли это так, будто открыли дверь в храм.

– Разве нет?

– Отчасти. Только в храме, как правило, меньше говорят о себе.

Он прикрыл тетрадь ладонью.

– Вот там, милый мой, я впервые понял, что русская литература способна устроить мистирию даже из опоздания к чаю.

И в его памяти снова закрипели ступени – уже другие, выше, торжественнее, ведущие туда, где люди говорили о Дионисе, Софии, плоти и вечности, а на блюде тем временем стыла самая обыкновенная булка.

Глава третья

Башня

К башне Вячеслава Иванова не поднимались – восходили.

Так, во всяком случае, полагали многие из тех, кто оказывался на её лестнице впервые. Лестница была обыкновенная: ступени тёртые, перила тёмные от рук, запах пыли, свечей, мокрой шерсти и человеческого нетерпения. Но люди, поднимаясь, меняли выражение лица. На первом пролёте они ещё вспоминали, не забыли ли заплатить извозчику; на втором уже старались держать подбородок духовнее; на третьем начинали говорить тише, словно наверху их ждали не хозяева квартиры, а посвящение в мистирию, после которой нельзя будет покупать колбасу прежним способом.

Кузмин заметил это сразу и, разумеется, не простил.

Он шёл не один. Рядом с ним поднимался Павел Николаевич, приглашённый петь. У Павла был новый воротничок, опасно белый для петербургской сырости, и вид человека, который заранее готов то ли покорить общество, то ли его рассмешить – в зависимости от того, что окажется легче.

– Здесь всегда так высоко? – шепнул он.

– Высота, Павел Николаевич, понятие нравственное. Но лестницы почему-то страдают физически.

– А если я наверху спою фальшиво?

– Тогда вас объявят дионисийским.

– Это спасёт?

– В этой квартире – несомненно.

Павел едва удержался от смеха. Кузмин сделал строгий вид, хотя сам был доволен. Он любил людей, с которыми шутка не падала на пол, как плохо поданный мяч.

Дверь открыла молодая женщина с усталым, но приветливым лицом. Из глубины квартиры донёсся гул голосов – не разговор даже, а общее кипение, в котором отдельные фразы всплывали и тут же тонули:

– ...аполлоническое начало, разумеется...

– ...но ведь плоть не отменяется духом...

– ...Блок сегодня будет?

– ...нет, это не рифма, это уклонение...

– ...самовар опять не кипит...

Кузмин снял пальто. Павел оглянулся на него с выражением мальчишки, попавшего за кулисы большого театра.

– Не пугайтесь, – сказал Кузмин. – Здесь всё не так страшно, как хочет казаться.

– А вы здесь бывали?

– Достаточно, чтобы знать: если человек произносит слово «бездна» больше трёх раз за вечер, ему надо предложить чаю.

Они вошли.

Комната была полна людей, дыма, книг и значительности. Книги лежали везде: на полках, стульях, подоконниках, возле икон, рядом с чашками, под чьей-то перчаткой. Свечи и лампы давали неровный свет, от которого лица казались то вдохновенными, то больными. В углу стоял самовар, шумел неуверенно, будто и сам стеснялся своей бытовой природы среди разговоров о вечности.

Вячеслав Иванов встретил Кузмина с той торжественной мягкостью, которую умел превращать в домашний обряд.

– Дорогой Михаил Алексеевич, – сказал он, беря его за обе руки. – Наконец. Мы как раз говорили о возвращении ясности в миф.

– Я всегда прихожу, когда миф нуждается в проветривании, – ответил Кузмин.

Иванов улыбнулся. Его лицо, борода, манера склонять голову – всё было устроено так, будто мысль у него не возникала, а нисходила. Это раздражало и очаровывало одновременно.

Он умел придавать обычной встрече оттенок посвящения, а простой чашке чая – вид дара элевсинских богинь.

– А это? – спросил Иванов, взглянув на Павла.

– Павел Николаевич. Поёт лучше, чем рассуждает, что, по нынешним временам, редкое преимущество.

Павел поклонился.

– После такой рекомендации мне остаётся молчать.

– Нет, – сказал Иванов. – Молчание тоже искусство, но сегодня мы, кажется, обречены на голос.

Павел посмотрел на Кузмина: «Он всегда так?»

Кузмин ответил взглядом: «Ещё сдерживается».

Их подвели к столу. Тут же кто-то спросил Кузмина о старообрядческом пении, кто-то – о французских переводах, кто-то – о музыке к одному домашнему спектаклю, которого ещё не было, но который уже все обсуждали так, будто он провалился и прославился одновременно.

У окна стоял высокий молодой человек с бледным лицом и глазами, смотревшими как будто не на собеседника, а на его будущую смерть. Это был Блок. Он слушал разговор молча, иногда наклонял голову, и от этого вокруг него возникал небольшой холод. Не неприятный – скорее тот холод, который бывает у чистой воды.

– Александр Александрович, – сказал Иванов, – вот Михаил Алексеевич утверждает, что ясность выше тумана.

– Я не утверждаю, – возразил Кузмин. – Я предпочитаю.

Блок чуть улыбнулся.

– Туман иногда честнее ясности. В нём видно, что человек не видит.

– А ясность честнее тумана тем, что не притворяется глубиной, когда перед нами просто сырость, – сказал Кузмин.

Кто-то одобрительно засмеялся. Кто-то обиделся за туман как за личного знакомого.

Блок посмотрел внимательнее.

– Но разве музыка не рождается из неясного?

– Музыка рождается из точного слуха к неясному, – ответил Кузмин. – Иначе получится не музыка, а испарение.

Блок молча принял эту фразу, как принимают камешек, брошенный в глубокий колодезь: звук падения будет позже.

Павел стоял рядом и явно наслаждался. Его мало интересовали символистские различия между бездной, хаосом и творческим мраком; зато ему нравилось, как Кузмин держится среди людей, которые привыкли говорить крупными буквами. Без вызова, без робости, с той сухой улыбкой, которая способна проколоть надутую метафизику, не испачкав пальцев.

Вечер двигался по законам башни: сначала разговор о высшем, затем чай, затем спор, затем чтение стихов, затем снова спор, уже менее внятный, но более убеждённый. Время там не шло, а заворачивалось в складки. Человек мог прийти к девяти, сказать «я только на полчаса» и в три ночи обнаружить себя рассуждающим о брачной символике эллинских культов перед тарелкой с засохшим печеньем.

Читали стихи.

Один юноша, румяный и трагический, прочёл длинное стихотворение, где луна сравнивалась последовательно с жертвенником, щитом, ликом, раной и, кажется, с ключом от несуществующей двери. Когда он закончил, наступила минута почтительного молчания.

Кузмин наклонился к Павлу:

– Луна сегодня много работала.

Павел издал звук, опасный для репутации вечера, и быстро закашлялся.

- Вам нехорошо? – спросила дама с бусами.
- Напротив, – сказал Павел. – Меня поразил ключ.
- Какой ключ? – спросил юноша-поэт.
- От раны, – тихо пояснил Кузмин.

Павел отвернулся к окну.

Потом он пел.

Кузмин сам подал ему лист, хотя можно было обойтись без нот. Павел взглянул на него, и в этом взгляде было что-то почти благодарное. Не салонное, не кокетливое. Простое. Кузмин вдруг почувствовал неловкость – не от чужих глаз, а от собственной нежности, которая явилась некстати, без приглашения, и села рядом, как полноправная гостья.

Павел запел духовный распев.

Комната изменилась быстрее, чем при стихах. Люди, только что готовые спорить о Дионисе до полного истощения самовара, замолчали не из вежливости. Голос шёл негромко, сдержанно, почти сурово. В нём не было просьбы понравиться. Он не украшал слово «помилуй», не тянул его за рукав, не плакал поверх него. Он просто ставил его в воздухе – и слово начинало весить больше человека.

Кузмин слушал и думал: вот ясность. Не бедная, не плоская, не «простая» в смысле доступная всякой глупости. Ясность как огонь свечи: малый, но вокруг него видно.

Когда Павел окончил, Иванов медленно произнёс:

- Это древняя вертикаль.

Кузмин вздохнул.

- Это было хорошо спето, Вячеслав Иванович. Иногда достаточно и этого.

Иванов рассмеялся мягко.

- Вы беспощадны к мистериям.

- Нет. Только к их преждевременным афишам.

Блок, всё ещё стоявший у окна, сказал неожиданно:

- В этом пении есть одиночество.

Павел покраснел. Кузмин заметил и отвёл глаза.

- Всякий точный голос одинок, – сказал он.

Фраза прозвучала слишком лично. Он тут же пожалел, что произнёс её, но было поздно: Павел услышал.

Позже они оказались у книжной полки. Павел делал вид, что рассматривает корешки, хотя держал книгу вверх ногами. Кузмин взял том у него из рук и повернул правильно.

- Если вы ищете мудрость, начните хотя бы с направления чтения.

- Я ищу повод стоять рядом.

- Это ещё опаснее мудрости.

– Здесь все говорят об опасности духа, плоти, бездны. Позвольте и мне хоть одну маленькую опасность.

- Маленькие опасности имеют дурную привычку вырастать.

Павел улыбнулся, но уже не дерзко.

- Вы боитесь?

Кузмин посмотрел на полку. Там стояли Платон, немецкие мистики, французские романы, сборники стихов, богословские трактаты. Целая армия слов, готовых объяснить человеку его сердце и тем самым лишить его последней простоты.

- Не вас, – сказал он.

- Тогда чего?

- Толкований.

Павел понял не всё, но главное – понял. Он не стал спрашивать. Это было умно. Молчание иногда впервые доказывает, что человек способен к разговору.

К ним подошёл Иванов.

– Михаил Алексеевич, вы всё ещё сопротивляетесь нашему общему восхождению?

– Я, Вячеслав Иванович, сопротивляюсь только общему. Восходить предпочитаю по одному: меньше толкотни на вершине.

– Индивидуализм, – сказал Иванов с улыбкой, – болезнь переходного времени.

– Коллективное здоровье часто заканчивается хором, где никто не попадает в ноту.

Павел восхищённо опустил глаза, чтобы не выдать улыбки.

– Но художник, – продолжал Иванов, – не может оставаться в одиночной келье. Он призван к соборности. К соединению. К жертвенному раскрытию личности в общем мифе.

Кузмин взял чашку, в которой давно остыл чай.

– Видите ли, я слишком люблю личность, чтобы раскрывать её жертвенно перед людьми, которые потом непременно попросят ещё сахару.

Иванов засмеялся – искренне, без обиды. В этом было его достоинство: он мог быть торжественен до опасности, но не был мелок. Он ценил острый ум, даже когда тот резал его собственные ткани.

– Вы напишете когда-нибудь манифест ясности, – сказал он.

– Боже упаси. Манифест – это когда мысль надевает сапоги и начинает маршировать.

– Но вы же верите в ясность.

– Верю. Потому и не хочу портить её лозунгом.

Разговор прервала хозяйка: кому-то требовался стул, кому-то – чай, кто-то искал перчатку, которую сам же засунул в карман. Высокое вновь споткнулось о бытовое, и Кузмин испытал к этой сцене почти нежность. Его всегда утешало, что самая дерзкая метафизика вынуждена считаться с отсутствием чистых стаканов.

К полуночи гостей стало меньше, но разговоры – гуще. Один спорили о театре, другие о религии, третьи о том, кто в последнем номере журнала написал бездарную рецензию под псевдонимом. Последний спор был самым оживлённым и потому самым искренним.

Кузмин вышел в соседнюю комнату, где было прохладнее. На столике лежали письма, корректуры, раскрытая книга. В окне отражалась его фигура – тонкая, чуть усталая, с лицом человека, который слишком много слышит.

За спиной послышались шаги.

– Вы ушли, – сказал Павел.

– Наблюдательны.

– Я тоже ушёл.

– Это уже поступок.

Павел подошёл к окну. В отражении они оказались рядом, словно два персонажа, ещё не решившие, из какой пьесы.

– Я не понимаю половины того, что они говорят, – признался Павел.

– Не огорчайтесь. Иногда они тоже.

– Но красиво.

– Красиво – да. Красота опасна тем, что ей долго прощают неточность.

Павел помолчал.

– А вам что нужно? Точность?

– Да.

– В музыке?

– В музыке. В словах. В чувствах.

– Разве чувства бывают точными?

Кузмин повернулся к нему.

– Конечно. Просто люди называют точностью только то, что можно предъявить в участие.

Павел медленно провёл пальцем по запотевшему стеклу. На нём осталась прозрачная линия, за которой дрожал ночной Петербург.

– А если чувство нельзя предъявить?

– Тогда оно требует ещё большей точности. Иначе его исковеркают чужими словами.

Павел посмотрел на него. Теперь между ними не было ни салонного шума, ни смеха, ни удобных шуток. Только маленькая холодная комната, отражение в окне и то, что оба понимали достаточно, чтобы не произносить.

– Михаил Алексеевич...

Он сказал имя слишком тихо. Почти без отчества. Или Кузмину показалось.

В соседней комнате кто-то громко произнёс:

– Господа, мы забыли о Софии!

– Невозможно, – отозвался другой голос. – О ней говорят уже три часа.

Оба рассмеялись – не громко, но спасительно. Смех вернул им воздух.

– Пойдёмте, – сказал Кузмин. – Если мы задержимся, нас тоже объяснят символически.

– А это плохо?

– Это хуже сплетни. Сплетня хотя бы признаёт, что интересуется неприличным.

Они вернулись.

Уже под утро, когда свечи догорели, самовар окончательно устал, а последние гости приобрели тот бескровный вид, который люди ошибочно принимают за духовность, Кузмин снова оказался рядом с Блоком. Тот стоял в прихожей, надевал пальто медленно, как будто возвращение на улицу требовало внутреннего согласия.

– Вы сегодня спорили с туманом, – сказал Блок.

– Без надежды на победу. Петербург на его стороне.

– Не только Петербург.

Кузмин посмотрел на него.

– Вы любите неясность?

– Я люблю то, что звучит до смысла.

– А я – когда смысл не убивает звучания.

Блок чуть кивнул.

– Это труднее.

– Потому и интересно.

Пауза была короткой, но не пустой. Блок вдруг сказал:

– Ваш певец хорошо понял одиночество.

– Он не мой.

– Разве?

Кузмин почувствовал раздражение – не сильное, но острое. Блок произнёс это без насмешки, почти рассеянно, и именно потому попал ближе, чем позволяла вежливость.

– Александр Александрович, – сказал Кузмин сухо, – принадлежность – грамматическая категория, а не нравственная.

Блок улыбнулся едва заметно.

– Простите. Я не о принадлежности.

– Тогда о чём?

– О слухе.

Он вышел, оставив после себя запах холода и табака.

Павел ждал на лестнице. На его лице было то бодрое утреннее выражение, которое оскорбляет людей, плохо спавших или вовсе не спавших.

– Проводить вас?

– Вы спрашиваете с настойчивостью грабителя.

– Грабители, кажется, не спрашивают.

– Лучшие – спрашивают. Это усыпляет.

Они спустились.

Улица была предрассветная, серая, измятая. Город выглядел так, будто всю ночь пил, спорил о бессмертии и теперь стыдился дворников. Воздух пах мокрым камнем, углём и ранним хлебом. На углу стояла женщина с корзиной, зевая так широко, что вся метафизика башни мгновенно сделалась смешной и бедной.

– Вы устали? – спросил Павел.

– От людей – да. От голосов – нет.

– А от меня?

Кузмин не сразу ответил.

– Вы слишком часто просите рецензию.

– Потому что вы слишком редко даёте ответ.

– Ответы развращают. Человек начинает ждать следующего.

Павел остановился.

– Тогда я скажу сам. Мне хочется вас видеть.

Фраза была проста. Непростительно проста. Никакой защиты, никакой игры, никакой античной маски, ни Диониса, ни Софии, ни лестной двусмысленности. Кузмин почувствовал, как внутри у него что-то сжалось – не от страха даже, а от внезапной ответственности. На такую фразу нельзя было ответить остроотой, не сделавшись подлецом.

Мимо проехала телега. Колесо попало в лужу, вода брызнула на мостовую.

– Видите, – сказал Кузмин наконец, – Петербург уже высказался.

Павел улыбнулся, но глаза его остались серьёзными.

– А вы?

– Я думаю, – медленно произнёс Кузмин, – что нам обоим следует быть осторожными.

– Это отказ?

– Это уважение к сложности.

– Вы всё называете красиво.

– Нет. Я как раз стараюсь не назвать некрасиво.

Павел отвернулся, посмотрел на серую улицу.

– Вы боитесь толкований.

– Да.

– А я боюсь, что вы всю жизнь будете прятаться за точностью.

Кузмин почувствовал укол. Не потому, что это было несправедливо. Потому, что было слишком возможно.

– Молодость, – сказал он, – обладает трогательной уверенностью, что прямота и правда – одно и то же.

– А зрелость – что осторожность и ум?

– Иногда зрелость просто лучше знает цену разбитой посуде.

Павел снова посмотрел на него. На этот раз без улыбки.

– Я не посуда.

– Вот именно.

Они стояли на пустеющей улице, и между ними впервые возникло не очарование, а конфликт. Кузмин понял: этот человек не позволит ему отделаться ни салонной шуткой, ни эстетическим рассуждением. Павел требовал не определения, а присутствия.

А присутствие было опаснее признания.

– Приходите завтра, – сказал Кузмин тихо.

Павел моргнул, будто не сразу понял.

– К вам?

– Нет, к городовому. Разумеется, ко мне. У меня есть ноты, которые вы портите с большим дарованием. Надо исправлять.

Павел улыбнулся – сперва осторожно, потом так ясно, что утро вокруг стало менее серым.

– В котором часу?

– После пяти. И не надевайте этот воротничок.

– Почему?

– Он слишком уверен в себе. Я не люблю соперников.

Павел рассмеялся. Потом вдруг взял руку Кузмина – быстро, почти по-товарищески, но пальцы задержались. На улице это могло быть чем угодно: благодарностью, прощанием, случайностью. Внутри – не было случайностью.

– Я приду, – сказал он.

– Это ещё не подвиг.

– Посмотрим.

Он ушёл.

Кузмин стоял, пока фигура Павла не исчезла за углом. Потом пошёл домой, чувствуя усталость, холод, раздражение на себя и странную лёгкость, которую не хотел называть счастьем. Счастье – слово громкое, как медная тарелка. А это было тише: будто в партитуре, где долго шли одни подготовительные такты, наконец появился мотив.

Дома он не лёг спать. Сел к столу, разложил бумаги, взял перо. В комнате было сумрачно; утро ещё не решалось войти, словно ждало приглашения. С улицы доносились шаги дворника, скрежет лопаты, далёкий крик.

Он написал первую фразу – не ту, что потом останется, нет. Первая фраза почти всегда бывает жертвой. Но за ней пришла вторая. Потом третья. Он писал о юноше, которому говорят, что мир шире дозволенного; о путешествии, которое начинается не с билета, а с внутреннего разрешения дышать; о любви, не желающей быть ни болезнью, ни позой; о крыльях, которые не украшают человека, а требуют от него воздуха.

К полудню он испортил четыре листа, выпил холодный чай, забыл поесть и впервые за долгое время почувствовал: слова не врут, если держать их коротко.

– Значит, башня всё-таки помогла? – спросил Лёня.

Кузмин сидел в кресле, прикрыв глаза. Лампа гудела еле слышно. За окном поздний Ленинград уже совсем утонул в темноте; только редкий свет трамвая проплывал по потолку, как бледная рыба.

– Помогла, – сказал он. – Раздражение вообще полезно для литературы. Восторг размывает, раздражение собирает фразу.

– А Вячеслав Иванович? Вы к нему хорошо относились?

– Я не обязан относиться к человеку просто, если он был сложен.

– Это уклонение.

– Это точность.

Лёня улыбнулся.

– Вы говорили о нём с насмешкой.

– Насмешка не исключает благодарности. Иногда она её единственная приличная форма.

Кузмин взял со стола засушенный лист. Он рассыпался бы от малейшего усилия, поэтому он держал его почти без касания.

– У Иванова, при всех его высотах, была редкая способность: люди рядом с ним начинали считать собственную душу событием. Это опасно, смешно, плодотворно. Из таких заблуждений иногда выходят книги.

– И «Крылья»?

– «Крылья» вышли не из башни. Они вышли из окна, которое я не хотел закрывать. Лёня записал эту фразу, забыв скрываться. Кузмин заметил, но не остановил.

– Вы тогда понимали, какой будет шум?

– Нет. Если бы понимал, написал бы хуже.

– Почему?

– Потому что стал бы объясняться. А литература, которая заранее оправдывается, похожа на гостя, пришедшего с рекомендательным письмом от собственной совести.

Он переложил пожелтевший и как будто засушенный лист в правую стопку – туда, где лежало «оставить». Затем вдруг передумал и вернул его в среднюю.

Лёня следил за движением.

– Вы всё ещё не решили?

– Милый мой, я всю жизнь занимался тем, что не решал окончательно. Окончательность хороша для некрологов и железнодорожных расписаний.

– Но бумаги...

– Бумаги – живее расписаний.

Он взял другую папку. На ней рукой, уже не молодой, было написано: **«Крылья. Отзывы. Письма. Разное».**

Слово «разное» было подчёркнуто дважды. В нём, как часто бывает, скрывалось самое существенное.

Кузмин развязал тесёмки. Внутри лежали газетные вырезки, несколько писем, корректурные листы, обрывок записки без подписи. Он вынул одну рецензию, взглянул и усмехнулся.

– Вот она, русская критика. Человек прочёл книгу, испугался себя и решил наказать автора.

– Ругали?

– Разумеется. Хвалили тоже, что иногда обиднее.

– Обиднее?

– Когда хвалят не за то, чувствуешь себя ограбленным с благодарственной речью.

Лёня потянулся ближе.

– Можно?

Кузмин протянул ему вырезку.

Лёня прочитал несколько строк и нахмурился.

– Здесь почти ничего о литературе.

– А вы ожидали? После «Крыльев» многим было не до литературы. Они вдруг обнаружили, что в русском языке можно говорить о вещах, которые до того дозволялось только делать, осуждать или не замечать.

Он поднялся, подошёл к буфету, долго искал спички, нашёл не там, где искал, и от этого рассердился на мир.

– Когда книга вышла, – сказал он, чиркая спичкой, – в Петербурге произошло маленькое чудо: люди, никогда не интересовавшиеся свободой души, немедленно заинтересовались нравственностью чужих персонажей.

– Вы страдали?

Кузмин зажёл вторую лампу. Комната стала резче: проявились трещины на стене, пыль на корешках книг, усталость его лица.

– Конечно. Но не так красиво, как вам бы хотелось.

Лёня смутился.

– Я не...

– Хотели, хотели. Молодые любят, чтобы писатель страдал художественно: у окна, в плаще, с письмом у сердца. В действительности писатель страдает между визитом к издателю и больным зубом. Это снижает пафос, но улучшает прозу.

Он сел и раскрыл папку шире.

– Скандал – скучное слово. Он редко бывает похож на гром. Чаще это шёпот. Кто-то не подал руки слишком заметно. Кто-то подал и пожал слишком крепко, демонстрируя широту. Дама спросила при всех: «Неужели вы это серьёзно?» – и ждала, что я начну краснеть, как гимназист. Один молодой человек прислал восторженное письмо без обратного адреса. Другой – ругательное, но с таким жаром, что я подумал: бедняга, ему моя книга нужнее, чем мне его одобрение.

– А друзья?

– Друзья делятся на тех, кто понимает, тех, кто делает вид, что понимает, и тех, кто понимает слишком хорошо и потому сердится.

Лёня молчал.

Кузмин вынул корректурный лист. Поля были исписаны его рукой: замены, сокращения, вопросительные знаки. Он погладил страницу.

– Я тогда ещё верил, что можно написать ясно – и ясность защитит. Как стекло: оно прозрачно, значит, никто не станет обвинять его в тайне. Глупость. Стекло первым и бьют.

Он поднял глаза.

– Но сначала был не скандал. Сначала была работа. Работа всегда благороднее последствий.

Он перевернул лист, и перед ним вновь возник стол, перо, рассыпанный табак, утренний свет, Павел у рояля, смеющийся над неправильно взятой нотой, и собственное раздражённое счастье человека, который нашёл тему, но ещё не знает, какую цену она потребует.

– Вот теперь, Лёня, – сказал Кузмин, – начинается то, ради чего приличные люди советуют писателям быть осторожнее. Книга решила родиться.

И он снова ушёл в тот год, где каждое слово казалось свежим, опасным и необходимым.

Глава четвёртая

Крылья

Книга рождалась не за письменным столом, как полагают люди, слишком доверяющие портретам писателей.

За письменным столом она только пачкала бумагу.

На самом деле она рождалась всюду: в трамвае, где чей-то локоть прижимал к боку рукопись; в редакционной прихожей, пахнущей мокрыми пальто и чужой самоуверенностью; в церкви, где голос дьякона вдруг проваливался в такую глубину, что хотелось бросить всякую литературу и слушать один этот бас до конца жизни; в комнате, где Павел, закинув голову, спорил о пустяке с важностью сенатора; на улице, где два гимназиста шли под одним зонтом и один, смеясь, касался плечом другого.

Кузмин ловил эти сцены жадно и стыдился жадности. Не нравственно – художественно. Ему казалось неприличным брать у жизни готовое, как берут со стола плохо охраняемое пирожное. Но жизнь, в отличие от хозяйки, не возражала. Она вообще отличалась расточительностью: ежедневно выбрасывала под ноги такие подробности, какие ни один благоразумный автор не решился бы придумать.

Он писал по утрам, когда город ещё не успевал заговорить во весь голос. Потом переписывал ночью, уже злее, короче, беспощаднее к украшениям. В первый час фраза казалась ему живой. Во второй – нарядной. В третий – подозрительной. К четвёртому часу он вычёркивал половину и чувствовал облегчение, как после удаления больного зуба.

Павел приходил почти каждый день.

Формально – заниматься пением.

Фактически – мешать, спасать, раздражать, приносить новости, съедать всё, что находилось на столе, и своим присутствием заставлять комнату казаться менее съёмной.

- Вы опять пишете? – спрашивал он, входя без особенной надежды услышать иной ответ.
- Нет, вышиваю нравоучительные салфетки для юношества.
- Юношество вам будет благодарно.
- Юношество неблагодарно по природе. И слава Богу: благодарные юноши быстро становятся чиновниками.

Павел снимал пальто, подходил к столу и заглядывал в рукопись.

- Можно?
- Нельзя.
- Тогда я прочту только одно слово.
- Одно слово – уже интимность. Отойдите.
- Вы пишете обо мне?

Кузмин поднимал глаза.

- После такого вопроса – уже нет.
- Значит, писали.
- Я пишу не о людях. Я пишу о возможностях.
- Удобно. Человек узнаёт себя, а вы говорите: «Нет, это возможность».
- Если человек узнаёт себя в книге, это ещё не значит, что автор виноват. Иногда человек просто распространённый тип.

Павел делал вид, что обижается, и садился к роялю. Но обида длилась ровно до первой ноты. Потом голос занимал его целиком.

Он пел лучше, когда сердился. Кузмин быстро это понял и пользовался без стыда, потому что искусство, если присмотреться, редко бывает вполне нравственным занятием. Достаточно было сказать: «Слишком сладко», – и Павел выпрямлялся, темнел лицом, брал фразу заново, жёстче, чище, почти зло. Тогда звук терял салонную улыбку и становился настоящим.

- Вот, – говорил Кузмин. – Теперь не врёт.
- Вы называете ложью всё, что вам не нравится.
- Нет. Только то, что притворяется чувством.
- А если чувство само хочет быть красивым?
- Пусть будет. Но не парикмахерским способом.

Павел захлопывал ноты.

- Вы невыносимы.
- Это одно из моих немногих устойчивых качеств.

Иногда они выходили гулять. Петербург обтекал их сыростью, шумом колёс, криками разносчиков, шелестом платьев, гулом мостов. Витрины на Невском светились как обещания, данные людям, у которых всё равно нет денег. У книжных лавок Кузмин останавливался дольше, чем позволяла погода; у музыкальных магазинов – дольше, чем позволял кошелек.

Павел любил толпу. Он шёл легко, с любопытством, то и дело оборачивался, замечал лица, жесты, смешные шляпы, нелепые вывески.

– Смотрите, – сказал он однажды, – «Модная мастерская «Идеал». Каково? Зашёл человек с обыкновенной головой, вышел с идеалом.

- Обычно наоборот, – заметил Кузмин. – Входит с идеалом, выходит со счётом.

Павел рассмеялся и вдруг взял его под руку – на мгновение, как будто из-за скользкой мостовой. Кузмин не отстранился сразу. Это тоже было событием. Маленьким, незаметным, безмянным. Но такие события опаснее скандалов: скандал принадлежит обществу, а это – только двум людям, пока один из них не испугается.

Кузмин испугался позже.

Не на улице. Не у рояля. Не в тот вечер, когда Павел задержался слишком долго, и чай давно остыл, и за окном дворник лениво скрёб снег, а они всё говорили – сначала о музыке, потом о Венеции, потом о том, можно ли уехать из России не телом, а стилем. Павел сидел на

подоконнике, вытянув ноги, и выглядел так естественно в чужой комнате, будто всегда имел на неё право.

- Вы когда-нибудь были счастливы? – спросил он вдруг.
 - Какой вульгарный вопрос.
 - Поэтому и спрашиваю. На изящные вы отвечаете слишком хорошо.
- Кузмин засмеялся, но не ответил.
- Были? – повторил Павел.
 - Вероятно.
 - Это не ответ.
 - Это самый точный из доступных.
 - А сейчас?

Кузмин взглянул на него. В комнате горела одна лампа. Свет лежал на лице Павла неровно: лоб, скулы, губы, тень под подбородком. Красивые лица при плохом освещении часто выигрывают; посредственные – раскрывают свои претензии. Павел не выигрывал и не проигрывал. Он просто был. И этого оказалось слишком много.

- Сейчас я занят, – сказал Кузмин.
- Чем?
- Стараюсь не испортить жизнь литературой.
- Или литературу жизнью?
- Это одно и то же, если человек неаккуратен.

Павел спрыгнул с подоконника.

- Вы всё время уходите в сторону.
- Это называется композиция.
- Нет. Это называется страх.

Кузмин отложил перо. Внутри поднялось раздражение – то самое, за которым обычно прячется признание.

- Вам нравится произносить это слово?
- А вам нравится его избегать.
- Страх – не самый плохой советчик.
- Но самый скучный.
- Неправда. Самый скучный советчик – самоуверенность. Она говорит громко и всегда одно и то же.

Павел подошёл ближе.

- Вы думаете, я самоуверен?
- Я думаю, вы молоды.
- Вы произносите это как диагноз.
- Иногда это лихорадка.
- А у вас, значит, здоровье?

Кузмин поднялся. Они стояли почти вплотную. Он чувствовал запах холодной улицы от его пальто, табака, мокрой шерсти и чего-то ещё – телесного, живого, не желающего переводиться в эстетические понятия.

- У меня, Павел Николаевич, – сказал он тихо, – опыт разбитой посуды. Я уже упоминал.
- А я не хочу быть посудой.
- Вы всё принимаете на свой счёт. Это льстит вам, но утомляет разговор.

Павел побледнел.

- Тогда простите.

Он взял шапку, пальто, слишком быстро надел перчатки. В движениях его появилась обиженная резкость, почти мальчишеская. Кузмин понимал: сейчас надо сказать одно простое слово. Не философское, не остроумное, не осторожное. Простое.

Останьтесь.

Он не сказал.

Павел дошёл до двери, остановился, не оборачиваясь.

– Вы напишете прекрасную книгу, Михаил Алексеевич, – сказал он. – И спрячете в неё всё, что не решились прожить.

Дверь закрылась.

Вот тогда Кузмин испугался.

Не за репутацию, не за книгу, не за будущее. Испугался возможности, что Павел прав. Что ясность, которой он так дорожит, может оказаться не смелостью, а утончённым способом избегать прямого огня. Что фраза у него дышит свободнее, чем он сам.

Он сел к столу. Рукопись лежала перед ним с видом невинным и хищным. Он перечёл последние страницы и с отвращением увидел в них слишком много ума. Ум в прозе необходим, но когда его слышно сильнее сердца, текст начинает щёлкать костями.

Он взял перо и стал вычёркивать.

Убрал объяснение. Убрал красивое сравнение, которым ещё утром гордился. Убрал целую страницу рассуждений о свободе, потому что свобода, изложенная на странице слишком гладко, похожа на программу лекции. Вместо неё написал сцену: юноша стоит у окна и слышит, как в соседней комнате смеются. Он хочет войти и не входит. Не потому, что ему запрещают. Потому что ещё не дал себе позволения.

Это было ближе.

На другой день Павел не пришёл.

И на следующий тоже.

Кузмин работал с яростью. Отсутствие иногда полезнее присутствия: оно не отвлекает, но болит ровно в том месте, откуда идёт настоящая фраза. Он писал о путешествии, о разговорах, о наставнике, о юношеском пробуждении, о том, что запретное может быть не грязным, а освобождающим, если назвать его без дрожи и без театральной гордости. Он не хотел скандала. Он хотел воздуха.

На четвёртый день явился знакомый редакционный человек – маленький, оживлённый, с лицом, созданным для слухов. Такие лица природа делает специально, чтобы новости не пропадали.

– Михаил Алексеевич, – сказал он, едва войдя, – вы слышали?

– Если вы начинаете так, значит, я уже предпочёл бы не слышать.

– Про Павла Николаевича.

Кузмин почувствовал, как рука стала неподвижной.

– Что именно?

– Он пел вчера у Сабуровых. Прекрасно, говорят. Но после был разговор. Неосторожный.

О вас.

– Обо мне всегда говорят неосторожно. Иначе скучно.

– Нет, нет, он защищал вас. Очень горячо. Там кто-то пустил глупость насчёт вашей новой вещи, будто вы собираетесь написать... ну, такую книгу...

Редакционный человек замялся с наслаждением.

– Какую?

– Неприличную.

– Скучное слово.

– Павел Николаевич сказал, что неприличие не в предмете, а в глазах читающего. Представляете? При дамах.

– Дамы выжили?

– С трудом. Одна уронила веер.

– Бедный веер.

Гость хихикнул.

– Потом какой-то поручик сказал ему, что подобные темы следует оставлять французам.

Павел Николаевич ответил, что французы и так перегружены нашими грехами.

Кузмин невольно улыбнулся.

– Это уже лучше.

– Кажется, они поссорились.

– Насколько?

– Без дуэли. Но громко. Я подумал, вы должны знать.

– Разумеется. Петербург держится на людях, которые сообщают другим, что они должны знать.

Когда гость ушёл, Кузмин долго сидел неподвижно. Радость и тревога смешались в нём так тесно, что различить их было невозможно. Павел защищал его – не книгу даже, которой ещё не существовало целиком, а право этой книги быть. И сделал это в обществе, при дамах, при поручике, при веере. Смех смехом, а это уже был поступок.

Вечером пришло письмо.

Без длинных вступлений:

«Я был груб. Вы были трусливы. Оба качества отвратительны, но ваше, кажется, опаснее для искусства, а моё – только для мебели. Если позволите, я приду завтра. Если не позволите, приду послезавтра.

П.»

Кузмин перечитал записку трижды. Потом сказал вслух:

– Невоспитанный человек.

И положил письмо в ящик стола, туда, где уже лежали первые страницы рукописи.

На следующий день Павел пришёл. Ровно после пяти. Воротничок был не тот – мягче, менее самодовольный. Они посмотрели друг на друга с серьёзностью, которая обоим показалась чрезмерной.

– Я получил ваше письмо, – сказал Кузмин.

– Оно было плохо написано.

– Чудовищно. Особенно пунктуация.

– Я не о пунктуации.

– А я всегда о ней, когда опасно говорить о главном.

Павел снял перчатки.

– Я не должен был обвинять вас.

– Должны были. Просто не так точно.

– Значит, я был прав?

– Не увлекайтесь. Правота плохо влияет на характер.

Павел улыбнулся, но тут же стал серьёзен.

– Я не хочу мешать вам.

– Поздно.

– Тогда что мне делать?

Кузмин подошёл к столу, взял несколько исписанных листов и протянул ему.

Павел растерялся.

– Это...

– Да.

– Вы же не давали читать.

– Передумал.

– Почему?

– Потому что вы уже вмешались. Теперь несите ответственность.

Павел осторожно взял листы, как берут не бумагу, а чужую боль. Сел у окна и начал читать.

Кузмин притворился, что занимается нотами. На самом деле он слышал каждый шелест страницы. Чтение вслух опасно, но молчаливое чтение близкого человека опаснее: перед тобой сидит не критик, не публика, не «современность», а один-единственный суд, от которого нельзя отмахнуться фразой о вкусах.

Павел читал долго. Сначала лицо его было сосредоточенным. Потом напряжённым. Один раз он улыбнулся – быстро, благодарно. В другом месте нахмурился. Дойдя до конца, он не сразу поднял глаза.

– Ну? – спросил Кузмин слишком сухо.

Павел положил листы на колени.

– Это... странно.

– Убийственное начало.

– Нет. Странно не так. Я ожидал, что будет смелее.

Кузмин застыл.

– Смелее?

– Да. А оно тише. От этого сильнее.

Кузмин отвернулся к роялю. Это была похвала, которую трудно было парировать.

– Есть места, где вы объясняете лишнее, – продолжал Павел осторожно.

– Покажите.

– Здесь. И здесь. Вы будто боитесь, что вас неправильно поймут.

– Меня и так неправильно поймут.

– Тогда зачем помогать?

Кузмин взял лист. Павел указал пальцем. Замечание было верным. Раздражающе верным.

– Вы быстро наглеее как редактор.

– Я учусь у вас.

– Плохая школа.

– Лучшая из доступных.

Они работали до ночи. Павел читал отдельные места вслух, спотыкался, спорил. Кузмин вычёркивал, возвращал, снова вычёркивал. Иногда они ссорились из-за одного слова.

– «Нежность» нельзя? – спрашивал Павел.

– Можно. Но здесь она как сладкая булка в постный день.

– А что вместо?

– Ничего.

– Ничего?

– Пауза. Иногда пауза нежнее слова.

Павел повторял фразу без «нежности», и действительно становилось лучше.

Около полуночи они устали так, что даже спорить стало лень. Павел сидел на полу у печки, рукопись лежала рядом. Кузмин – за столом, обхватив стакан остывшего чая.

– Как вы назовёте? – спросил Павел.

– Не знаю.

– Знаете.

– Возможно.

– Скажите.

Кузмин помолчал.

– «Крылья».

Павел не улыбнулся. Только кивнул.

– Да.

- Вам не кажется слишком прямым?
 - Нет. Потому что они не декоративные.
 - Какие же?
- Павел посмотрел на него снизу вверх.
- Тяжёлые.
- Это было неожиданно. И точно.

Кузмин записал название на верхнем листе. Перо чуть зацепилось за бумагу, оставив крошечную кляксу после буквы «я». Он хотел переписать, но не стал. Пусть. У всякого полёта есть пятно у основания.

Потом начались редакции.

Редакция – место, где литература узнаёт, что у неё есть пальто, очередь, цена за строку и враги за соседним столом.

В Петербургских редакциях пахло чернилами, пылью, табаком, мокрыми галошами и уязвлённым самолюбием. Там сидели люди, которые ежедневно решали судьбу русской словесности между просьбой выдать аванс и поисками чистого стакана. На стенах висели портреты писателей, смотревших на происходящее с выражением посмертного сомнения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.